

ФИГУРЫ ФИЛОСОФИИ

ЖАН БОДРИЙЯР

К КРИТИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИИ ЗНАКА



ПЕРЕВОД В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Фигуры Философии

Жан Бодрийяр

**К критике политической
экономики знака**

«РИПОЛ Классик»

1972

УДК 122/129
ББК 87.3

Бодрийяр Ж.

К критике политической экономии знака / Ж. Бодрийяр —
«РИПОЛ Классик», 1972 — (Фигуры Философии)

ISBN 978-5-386-13775-5

Одна из важнейших программных книг культового мыслителя Жана Бодрийяра, в которой он двигается по курсу, заданному в первых работах, но именно в «Критике политической экономии знака» происходит важнейший концептуальный поворот от рассмотрения вещей как вещей в сторону понимания вещей как знаков, тот самый угол зрения, который неразрывно связал имя Бодрийяра с термином «симулякры». Используя подходы политэкономии и маркетинга, социологии и антропологии, семиотики, искусствоведения и теории коммуникации, Бодрийяр продолжает погружаться в исследование общества потребления, искусно жонглируя структурализмом, марксизмом и фрейдизмом для того, чтобы поставить окончательный диагноз современному миру. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 122/129

ББК 87.3

ISBN 978-5-386-13775-5

© Бодрийяр Ж., 1972
© РИПОЛ Классик, 1972

Содержание

Бодрийяр и симулякры	6
Функция – знак и классовая логика[1]	8
I. Социальная функция предмета-знака	8
Эмпириристическая гипотеза: потребности и потребительная стоимость	8
Символический обмен: кула и потлач	8
Демонстративное потребление	9
Функциональный симулякр	10
II. Социологические подходы	12
Чэпин: шкала living-room	12
Синтаксический анализ и риторика среды	12
Стратегический анализ практики предметов	13
Специфичен ли дискурс предметов?	14
Формальный код и социальная практика	15
III. Дифференциальная практика предметов	16
Социальная мобильность и инертность	16
Домашний порядок и общественный вердикт	17
Двусмысленная риторика: преуспевание и смирение	17
Стилистические модальности	18
Тактика горшка и кашпо	19
«Вкус» к старине	20
Блестящее и лакированное	21
Моральный фантазм домашнего хозяйства	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Жан Бодрийяр

К критике политической экономии знака

Jean Baudrillard

POUR UNE CRITIQUE DE L'ECONOMIE POLITIQUE DU SIGNE

Серия «ФИГУРЫ ФИЛОСОФИИ» – это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности.

Книги серии – способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве.

Перевод с французского Д. Ю. Кралечкина



Группа Компаний РИПОЛ классик

П А Н Г Л О С С

© Editions GALLIMARD, Paris, 1972

© Кралечкин Д.Ю., перевод на русский язык, 2020

© Кузнецов В.Ю., вступительная статья, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»,
2020

Бодрийяр и симулякры

Творчество некоторых мыслителей часто ассоциируется с каким-нибудь сюжетом или концептом, который становится в таком случае привычной визитной карточкой или фирменным лейблом, этикеткой или даже торговой маркой. Конечно, не Бодрийяр придумал симулякры – ни в смысле создания, ни в смысле описания, не он первый дал им такое название, не он один пользуется этим термином. Но именно с именем Бодрийяра симулякры теперь неразрывно связаны, поскольку ему удалось не только подробнейшим образом разработать соответствующую теоретическую конструкцию, но, кроме того, наглядно, ясно – и, главное, – понятно показать, как все это действует.

Состоящие из небольших, мозаично смонтированных фрагментов, книги Бодрийяра примыкают друг к другу и вырастают друг из друга, складываясь в причудливый голографический узор. При этом они постоянно остаются открытыми для взаимодействия – продолжения и состязания – с книгами Делеза, Батая, Лиотара, Деррида, Бланшо, Кристевой, Мосса, Леви-Стросса, Лакана, Маклюэна, Маркузе, Бурдьё... С двуглавым монстром политэкономии (привет Марксу) срачивается семантически-синтаксический (привет де Соссюру) анализ бессознательного (привет Фрейдю), открывая возможность для критического и революционного переосмысления отдельности и отдаленности любых инстанций. Переходы от кибернетических моделей к информационным потокам, от биологических метафор к образам идеологии, от концепций языка к маркетинговым исследованиям, от синкретизма мифологий к валоризации неценного искусством, от циркуляции даров к отсрочке смерти, от метафизики кодов к ускользающему эротизму поверхности, и т. д., и т. п. – такие переходы от чего угодно к чему угодно восстанавливают бесконечные хитросплетения и ризоматическое устройство символического пространства, демонстрируя заодно широкие возможности симуляции. Эволюция и трансформация порождения и превращения символов – от подделки через производство к симуляции, а затем и к фрактальной стадии ценности – ставится Бодрийяром в соответствие модификациям общественного организма, но отображает некоторым образом и восприятие его собственных текстов. Начав с любой книги, с любого сюжета или концепта, мы неизбежно вынуждены сдвигаться ко всем другим, пока не обойдем все размеченное поле и не выйдем – если выйдем – за его пределы.

Однако книга «К критике политической экономии знака» (1972) в творчестве Жана Бодрийяра (р. 1929), социолога по образованию и формальной дисциплине преподавания, занимает особое место, знаменуя начало постепенного перехода исследования от вещей как вещей к вещам как знакам, реализуя радикальное заострение теорий предшественников и современников, воплощая ключевой поворот к созданию фундаментальной и всеобъемлющей философской концепции. Буйная поросль вещей, стремительно размножающихся и все больше окружающих нас, захватывает и завлекает – стандарты потребления постоянно расширяются, формируются целые системы манипулирования вещами как знаками. Виртуальная целостность всех предметов и их отношений составляет более или менее связный дискурс. Полифункциональность вещи позволяет обладанию закрывать использование и обуславливает появление предметов, воплощающих функционирование как таковое – какой-нибудь волнующе фасцинирующий, красиво вращающий свои зубчатые колесики и заманчиво переливающийся гаджет. Аналогично, сама реклама становится скорее особой разновидностью потребления – телезрителя, читателя газет и даже пешехода, пассажира, водителя, а комментарий к тексту неизбежно образует еще один текст. Конечно, и книга о вещах будет еще одной вещью, а концепция идеологичности любой потребности не может не быть идеологичной.

Бодрийяра можно читать как еще одного социолога, ставящего (неутешительный) диагноз нашей эпохе; можно прочесть как пародию сразу на все модные течения – структура-

лизм, фрейдизм, марксизм и все остальные; можно вычитать из него прикладной этнографическо-антропологический взгляд на современную культуру, а можно – совершенно абстрактную модель семиотики; в конце концов, его можно вообще не читать, считая обычным постмодерновым симулянтом. Можно соблазняться им, получая удовольствие от вкусного текста, насыщенного языковыми играми, культурными аллюзиями, литературными и художественными реминисценциями, а можно разгадывать как бесконечную цепь загадок, сокращенную или надставленную переводчиками и комментаторами. Самодовольство знака, тотальная симуляция и засилье гиперреального, обретя благодаря Бодрийяру (это ведь совсем не какой-нибудь заумный, зубодробительный и неудобопонятный Деррида!) отчетливое обозначение и прямое наименование, оплатили ему репутацией теоретического террориста и интеллектуального провокатора, заслонив и заместив его самого (в той степени, конечно, в какой он – сам по себе – существует) саморепрезентирующей искрометной завесой. Но если попытаться возжелать все-таки заглянуть за эту завесу, то лучше, наверное, обратиться к истокам его концепций...

Василий Кузнецов

Функция – знак и классовая логика¹

I. Социальная функция предмета-знака

Эмпириристическая гипотеза: потребности и потребительная стоимость

Анализ социальной логики, управляющей практикой предметов в их разных классах или категориях, должен в то же самое время являться критическим анализом идеологии «потребления», которая в настоящее время подкрепляет любую практику, так или иначе связанную с предметами. Этот двойной анализ – анализ различительной социальной функции предметов и анализ политической функции идеологии, которая с ней связана – следует начать с одного безусловного требования, а именно необходимости преодолеть стихийное понимание предметов в категориях потребностей, преодолеть саму гипотезу о первичности потребительной стоимости.

Гипотеза эта, поддерживаемая очевидностью обыденной жизни, приписывает предметам функциональный статус, статус утвари, связанный с техническими операциями, относящимися к миру, и даже – тем самым – статус опосредования антропологических «природных» потребностей индивида. С такой точки зрения, предметы в первую очередь зависят от потребностей, приобретая смысл в экономическом отношении человека к окружающей среде.

Эта эмпириристическая гипотеза неверна. Дело обстоит совсем не так, словно бы первичным статусом предмета был статус прагматический, который свёрхдетерминировался бы социальной знаковой стоимостью – наоборот, фундаментальной является знаковая меновая стоимость², соответственно, потребительная стоимость зачастую оказывается всего лишь ее практическим залогом (или даже простой рационализацией): только в такой парадоксальной форме социологическая гипотеза может быть верной. В своей несомненной очевидности потребности и функции описывают, в сущности, лишь некий абстрактный уровень, явный дискурс предметов, по отношению к которому фундаментальным является социальный дискурс, остающийся по большей части бессознательным. Истинная теория предметов и потребления должна основываться не на теории потребностей и их удовлетворения, а на теории социальной демонстрации и значения.

Символический обмен: кула и потлач

Возможно, отсылка к первобытным обществам несколько рискованна, но стоит вспомнить, что первоначально потребление благ (продовольствия или предметов роскоши) не соответствует индивидуальной экономии потребностей, но является социальной функцией престижа и иерархического распределения. Первоначально оно обусловлено не жизненной

¹ Впервые опубликовано в журнале: Communications. 1969. № 13.

² Французский термин «valeur» сочетает в себе разные смыслы – «стоимости» (в частности в марксистских контекстах), «ценности» и «значения» (в том числе языкового). В данном случае Бодрийяр использует выражение «la valeur d'échange signe» («знаковая меновая стоимость»), но в остальном тексте почти всегда применяются конструкции со слэшем (valeur/signe, la valeur d'échange/signe, т. е. «меновая стоимость/знак»), указывающие на трансформацию самой логики политэкономической «стоимости» в знак, а не просто на уточнение и квалификацию меновой стоимости знаками. – *Прим. перев.*

необходимостью или «естественным правом», а культурным принуждением. Короче говоря, оно является институтом. Чтобы социальная иерархия стала очевидной, блага и предметы *необходимо* производить и обменивать (порой в режиме неистового расточительства). У жителей Тробрианских островов (описанных Малиновским) существует радикальное различие между экономической функцией и функцией/знаком: существует два класса предметов, на основе которых выстроены две параллельные системы – с одной стороны, *кула*, система символического обмена, основанная на кругообороте, обращающемся даре браслетов, колье, украшений, вместе с организованной вокруг нее социальной системой значимости и статуса, а с другой – *гимвали*, торговля обычными благами.

Такое разделение исчезло из наших обществ (хотя и не полностью – отсюда приданное, подарки и т. д.). Тем не менее за всеми надстройками покупки, рынка и частной собственности в нашем выборе предметов, их накоплении, потреблении и обращении с ними всегда необходимо подмечать механизм социальной демонстрации, то есть механизм различения и престижа, который лежит в самой основе системы ценностей и интеграции в иерархический порядок общества. *Кула* и *потлач* исчезли, но не их принцип, который мы будем использовать в качестве основания теории предметов. Этот принцип становится, вероятно, все более значимым по мере умножения и дифференциации предметов: дело не в отношении к потребностям и не в потребительной стоимости, а в символической меновой стоимости, в ценности социальной демонстративности, конкуренции и, в конечном счете, классовой дискриминации – вот фундаментальная концептуальная гипотеза социологического анализа «потребления».

Демонстративное потребление

Отзвук этой изначальной функции предметов приобретает более общий характер в исследованиях Торстейна Веблена³ под видом понятия *conspicuous waste* (демонстративной расточительности, престижной траты или престижного потребления). Веблен показывает, что даже если первоначальной функцией подчиненных классов является работа и производство, они в то же время выполняют функцию демонстрации стэндинга⁴ Господина (каковая функция становится единственной, если эти классы содержатся в праздности). Женщины, «люди», челядь также являются показателями статуса. Эти категории людей тоже могут что-то потреблять, но лишь во имя Господина (*vicarious consumption*), свидетельствуя самой своей праздностью и избыточностью о его величии и богатстве. Их функция, следовательно, относится к экономике не более, нежели функция предметов в *куле* или в *потлаче*, являясь на деле функцией учреждения или сохранения иерархического порядка ценностей. В той же перспективе Веблен анализирует существование женщины в патриархальном обществе: точно так же, как раба кормят не для того, чтобы он ел, а для того, чтобы он работал, женщину стараются роскошно одеть не для того, чтобы она была красивой, а для того, чтобы своим великолепием она свидетельствовала о легитимности или социальном превосходстве своего хозяина (таким же образом обстоят дела с «культурой», которая для женщин часто выполняет функцию социального атрибута: культура женщины, особенно в богатых классах, составляет часть наследия той группы, к которой она принадлежит). Это понятие *vicarious consumption*, «потребления по доверенности» играет ключевую роль: оно подводит нас к фундаментальной теореме потребления, согласно которой потребление не имеет ничего общего с личным наслаждением (хотя женщине, возможно, и нравится быть красивой), указывая на принудительный *социальный*

³ Veblen T. The Theory of the Leisure Class, 1899, фр. пер.: La Theorie de la classe de loisir. Paris: Gallimard, 1969.

⁴ Английский термин «standing», часто используемый Бодрийяром в обобщенном значении «статуса» и «позиционного положения», здесь передается в русской транслитерации. – *Прим. перев.*

институт, который детерминирует различные виды поведения, прежде чем он будет от-
флексирован сознанием социальных агентов.

А это в свою очередь заставляет нас рассматривать потребление не в качестве того, за что оно себя выдает – обобщенного индивидуального удовлетворения, – а в качестве социальной *судьбы*, в большей мере затрагивающей одни классы, но не другие, или же противопоставляющей их друг другу. И даже если сегодня в современном демократическом обществе не существует категорий людей, *юридически* предназначенных для демонстративного потребления по доверенности, можно задаться вопросом, не остались ли за видимым социальным обобщением процесса классы, *фактически* предназначенные для осуществления этих механизмов расточительности, – классы, которые под свободой индивидуального поведения, кажущейся полной, возрождают, тем самым, ту вечную функцию института ценности и социального различения, которая была функцией потребления в доиндустриальных обществах.

Согласно Веблену, одним из главных показателей престижа, помимо богатства и расточительности (*wasteful expenditure*), является праздность (*waste of time*), осуществляемая непосредственно или по поручительству. Мир предметов также не ускользает от этого правила, этого принуждения избыточности: отдельные категории предметов (безделушки, гаджеты, аксессуары) всегда определяются тем, что в них оказывается бесполезным, пустяковым, лишним, декоративным или нефункциональным, тогда как в каждом отдельном предмете то же самое правило выполняется во всевозможных коннотациях и круговерти форм, в игре моды и т. д. – короче говоря, предметы никогда не исчерпываются тем, чему они служат, и в этом-то избытке присутствия они и наделяются значением престижа, «обозначая» уже не мир, а бытие и социальный ранг их владельца.

Функциональный симулякр

Однако, это требование праздности и неприменимости как источник значимости сегодня везде и всегда сталкивается с антагонистичным императивом, так что современный статус предмета в повседневной жизни рождается из конфликта или компромисса между двумя противоположными формами морали: аристократической морали *otium'a* и пуританской морали труда. Когда функцию предметов представляют в качестве их имманентного основания, совершенно забывают о том, насколько само это функциональное значение управляется социальной моралью, требующей ныне, чтобы предмет – так же, как и индивид – не был праздным. Он обязан «работать», «функционировать», тем самым искупая, совершенно по-демократически, свою вину, в том и состоящую, что ранее он обладал аристократическим статусом чистого знака престижа. Этот прежний статус, основанный на демонстративности и трате, никуда не делся, но, будучи ограничен эффектами моды или украшения, часто он дублируется – в той или иной мере – определенным функциональным дискурсом, способным создать *алиби* для различительной функции (*invidious distinction*). Таким образом, предметы ведут постоянную игру, в действительности проистекающую из морального конфликта, из расхождения социальных императивов: функциональный предмет притворяется декоративным, утяжеляется какими-то бесполезными элементами и знаками моды, тогда как пустяковый и ненужный предмет обременяется практическим целеполаганием⁵. Пределом представляется гаджет: чистая произвольность под прикрытием функциональности, чистая расточительность, прикрытая практической моралью. Так или иначе, все предметы, даже самые пустяковые, оказываются предметами

⁵ Так, в загородной вилле, оборудованной центральным отоплением, крестьянская грелка для постели скрывает свой фольклорный характер: о ней говорят, что «зимой она еще пригодится!»

труда: уборки, расстановки, починки, бриколажа – везде *homo faber* выступает в качестве двойника *homo otiosus*. В общем случае мы имеем дело (и не только в мире предметов) с неким функциональным симулякром (*make-believe*), за спиной которого предметы продолжают играть свою роль социальных отличительных маркеров. Иначе говоря, все предметы приведены к фундаментальному компромиссу⁶, состоящему в том, что они, с одной стороны, должны означать, то есть наделять социальным смыслом, престижем, в модусе *otium*⁷ и игры – в том архаическом и аристократическом модусе, с которым пытается воссоединиться гедонистическая идеология потребления, – а с другой стороны, они должны подчиняться крайне устойчивому консенсусу демократической морали усилия, дела и заслуги.

Можно вообразить себе такое состояние общества, где все это привело бы к появлению двух разделенных классов предметов, противопоставленных друг другу так же, как потребление противопоставляется престижу, а потребительная стоимость – знаковой меновой стоимости; причем разделение это было бы связано с жесткой иерархической интеграцией (как в первобытном обществе, ритуальном обществе или кастовом). Но в нашем обществе, повторим, чаще всего эти процессы приводят к амбивалентности на уровне каждого предмета.

Важно, не довольствуясь практической очевидностью предметов и мнимой стихийностью поведения, выявлять повсеместное социальное принуждение, этос «демонстративного» потребления (прямого или по доверенности)⁷, то есть схватывать в потреблении неизменно присутствующее в нем измерение социальной иерархии, улавливать в современном стэндинге мораль, все столь же непреклонную.

В этом парадоксальном определении предметы, следовательно, оказываются местом не удовлетворения потребностей, а символической работы, «производства» в двойном смысле термина *producere* — их производят, но также их приводят в качестве *доказательства*. Они суть место освящения определенного усилия, непрерывного свершения, своего рода *stress for achievement*, стремящегося привести весомое и неизгладимое доказательство социальной значимости. Что-то вроде мирского *Bewahrung*, испытания, демонстрации, – наследующей, пусть и в поведении с обратным знаком, те же моральные принципы, что составляли протестантскую этику, совпадая, по Веберу, с принципами производственного духа капитализма: мораль потребления принимает эстафету от морали производства или же сплетается с ней в единой социальной логике спасения.

⁶ В любой логике этот компромисс окажется противоречием, поскольку две системы ценностей являются антиномичными. И только «функционалистская» промышленная эстетика, не признающая социальных противоречий, связанных с ее собственной реализацией, может вообразить, будто гармонично примиряет функцию с формой (см. далее «Роскошь эфемерного»).

⁷ Речь здесь не идет об индивидуальном тщеславии, связанном с обладанием более красивыми, чем у других, предметами: такое тщеславие относится к психологическому опыту, к отношению *сознательной* конкуренции. Тогда как социальные цели демонстрации, вся социальная механика ценности остается в своей массе бессознательной, осуществляемой без ее осознания самими субъектами. Сознательные игры с престижем и конкуренцией являются лишь преломлением в сознании целесообразности и принудительности бессознательного порядка.

II. Социологические подходы

Чэпин: шкала living-room

Попытки связать предметы в качестве элементов определенной социальной логики предпринимали разные авторы. Как правило, впрочем, роль предметов в социологических исследованиях сводится к роли статистов. У аналитиков «потребления» предметы оказываются одной из излюбленных тем социологической паралитературы, составляющей эквивалент рекламного дискурса. Стоит, однако, выделить одну попытку систематизации, а именно попытку, предпринятую Френсисом Стюартом Чэпином⁸. Он определяет статус как «положение, которое занимает индивид или семья в соответствии с доминирующими стандартами культурных благ, реальных доходов, материальных благ и способов участия в групповых формах деятельности данного коллектива». Таким образом, есть четыре шкалы. Затем было замечено, что четыре этих показателя находятся в настолько тесной связи с независимой переменной, а именно с меблировкой гостиной, что этой последней оказалось вполне достаточно для того, чтобы произвести оценку класса с точки зрения статистики. В этой «шкале living-room» используется 23 пункта, позволяющих составить опись и количественно оценить различные предметы (так же, как и некоторые характеристики самого ансамбля предметов: чистоту, порядок, ухоженность). Очевидно, что это первое исследование, преследующее социологические цели, характеризуется как нельзя более наивным эмпиризмом: социальные страты индексируются в нем попросту по сводному списку предметов. Такая процедура может быть выполнена со всей строгостью (ведь ее выводы в любом случае остаются достаточно грубыми) лишь в относительно бедном обществе, в котором покупательная способность сама по себе четко делит классы. Точно так же она значима лишь для крайних, а не для средних категорий. Кроме того, эти жесткие корреляции не могли бы выявить ни логику, ни динамику стратификации.

Синтаксический анализ и риторика среды

Тем не менее, шкала Чэпина, если бы она основывалась на более тонком анализе, учитывающем качество предметов, их материал, форму, стилистические нюансы и т. п., могла бы все же использоваться, ведь несправедливо и то возражение, обычно ей предъявляемое, будто сегодня все могут владеть одними и теми же вещами. Изучение моделей и серий⁹ показывает сложную гамму различий, нюансов, благодаря которым одна и та же категория предметов (кресла, мебельная стенка, автомобиль и т. д.) все еще в силах воссоздать любые социальные дистанции. Но так же очевидно и то, что сегодня вместе с повышением уровня жизни дискриминация сместилась с простого обладания к практике предметов. Поэтому-то социальная классификация должна была бы, по всей видимости, основываться на более тонкой семиологии среды и повседневных практик. Исследования интерьеров и домашних пространств, основанные не на описи, а на распределении предметов (центральное/крайнее положение – симметрия/асимметрия – поря-док/отклонение – близость/удаленность), на формальных или функциональных синтагмах, короче говоря, исследование синтаксиса предметов, стремящееся извлечь константы организации в соответствии с типом жилья и социальной категорией, выявить связность и противоречивость дискурса – вот уровень исследовательской работы, кото-

⁸ Chapin F.S. Contemporary American Institutions. New York, 1935, гл. XIX: «A measurement of social status». См. также: Chapman D. The Home and Social Status. London, 1955.

⁹ См.: Baudrillard J. Le Systeme des objets. Paris: Gallimard, 1968. (Русский перевод: Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Издательство «Рудомино», 1995.)

рая должна предварять истолкование в категориях социальной логики, при условии, что такой «горизонтальный» топоанализ дублируется «вертикальной» семиологией, которая, направляясь от серии к модели, проходя через все значимые различия, изучала бы иерархическую шкалу каждой категории предметов¹⁰.

Проблема тогда заключалась бы в том, чтобы выявить связь между, с одной стороны, положением определенного предмета или группы предметов на вертикальной шкале и, с другой стороны, тем типом организации контекста, в котором данный предмет обнаруживается, или тем типом практик, которые с ним соотносятся. Гипотеза связи не обязательно должна подтверждаться, ведь варваризмы и ляпсусы существуют не только в формальном дискурсе, но и в социальном дискурсе предметов. И речь тогда должна идти не только о том, чтобы выявить их в структурном анализе, но и о том, чтобы истолковать их в терминах социальной логики и социальных *противоречий*.

Итак, на что же может быть направлен социальный анализ в этой области? Если речь о том, чтобы выявить некую механическую или зеркальную связь между такой-то конфигурацией предметов и таким-то положением на социальной лестнице, как это делает Чэпин, то это лишено всякого интереса. Хорошо известно, что предметы многое говорят о статусе их владельца, но в таком рассуждении содержится порочный круг: в предметах мы обнаруживаем ту социальную категорию, которую мы в сущности уже определили, исходя из этих предметов (взятых вместе с другими критериями). Рекуррентная индукция скрывает круговую дедукцию. Специфическая социальная практика и, следовательно, реальный предмет социологии не могут быть выявлены в подобной операции.

Стратегический анализ практики предметов

На первых порах можно, наверное, рассматривать предметы сами по себе и их *сумму* в качестве признаков *социальной принадлежности*, но гораздо более важно рассматривать их в их выборе, их организации и их практике в качестве опоры для *глобальной структуры* среды, которая в то же самое время является активной структурой поведения. Эта структура уже не будет прямо привязана к более или менее точно указанному статусу, описанному заранее, она будет анализироваться как элемент *социальной тактики* индивидов и групп, как живой элемент их стремлений, который в более обширной структуре может как совпасть с другими аспектами данной социальной практики (с профессиональной карьерой, воспитанием детей, местом жительства, сетью отношений и т. д.), так и частично противоречить им¹¹.

Во всяком случае ясно, что о предметах можно говорить лишь в категориях, отличных от них самих, то есть в категориях социальной логики и социальной стратегии. В то же время исследование надо проводить на его конкретной территории, определяя, какое специфическое положение занимают предметы по отношению к другим знаковым системам и какое специфическое поле практик они конституируют в общей структуре социального поведения.

¹⁰ Для некоторых категорий предметов шкала различий оказывается относительно бедной (электробытовая техника, телевизор и т. д.), а для других (кресла, мебельные стенки) иерархическая парадигма моделей и серий достаточно богата.

¹¹ Так, воспитание детей является тактически элементом? существенным на всех уровнях общества, но на некоторых из них эта форма самореализации вступает в конфликт с реализацией за счет предметов.

Специфичен ли дискурс предметов?

По всей вероятности, норма потребительских установок оказывается одновременно нормой отличия и нормой конформности¹². Можно сказать, что в общем случае мы обнаруживаем приоритет группы принадлежности перед идеальной референтной группой: мы владеем «надлежащими» предметами, то есть предметами тех, кто равен нам по статусу¹³. Но проблема остается: каково специфическое положение предметов – если оно вообще есть – по отношению к этой чересчур общей норме потребительских установок? Может быть, наличие изофункциональности, дублирование различных систем знаков и поведенческих систем, относящихся к потреблению? Дублирование одежды, предметов, жилья, досуга, культурной деятельности? Или же существует относительная автономия? Так, сегодня самые разные секторы – одежда, бытовые приборы, автомобиль – подчиняются нормам ускоренного обновления, но каждый в своем собственном ритме, причем моральное устаревание варьируется в зависимости от той или иной социальной категории. Можно также допустить, что все эти секторы в своей совокупности противопоставляются «жилью», которое, даже солидаризируясь с общим процессом, задает совершенно особую функцию, которая не может идеально и прямо уподобляться другим формам потребления или моды¹⁴. Сведение всех множеств различительных знаков к некоей синхронии, поддерживающей однозначное отношение с положением на социальной лестнице (или с социальной траекторией) означало бы, несомненно, ликвидацию значительного поля, богатого на контрасты, двусмысленности, рассогласования. Спросим иначе: является ли специфичной социальной практика предметов? Выражаем ли мы требование социальной конформности, безопасности в наших предметах, а не в детях, друзьях, одежде и т. д., или же выражению подлежат наши стремления, социальные амбиции, и – в таком случае – что это за стремления, и в каких предметах они выражаются? В качестве гипотезы можно предположить относительную автономию предметов и их практик в контексте социальных установок, причем эта автономия, сохраняющаяся в лоне самих предметов, меняется от одной категории к другой: так, в домах часто можно заметить, что общая конфигурация предметов, рассмотренная с точки зрения статуса, не является гомогенной – только в редких случаях все предметы одного интерьера живут словно бы на одной волне. Разве тогда, когда одни предметы коннотируют социальную принадлежность, действительный статус, другие не отсылают к предполагаемому статусу, то есть к уровню стремлений? Существуют ли «нереалистичные» предметы, то есть предметы, опровергающие реальный статус, предметы, безнадежно свидетельствующие о недостижимом стэндинге (и оказывающиеся в некоторой степени аналогами поведения, характеризующегося «уклонением», или же утопического поведения, свойственного критическим фазам адаптации к новой культуре)? Существуют ли, с другой стороны, такие предметы-свидетели, которые, вопреки мобильному статусу владельца, подтверждают верность исходному классу, его цепкой «культуре»?

¹² Вот в чем заключается парадокс моды: каждый украшает себя отличительными знаками, которые в конце концов распространяются на всех поголовно. Д. Рисмен устраняет этот парадокс при помощи сменяющих друг друга культурных типов: вслед за *innerdirected* типом, нацеленным на соответствие самому себе, приходит *otherdirected*, цель которого в отличии себя от остальных.

¹³ См. по этому вопросу и о понятии *unconspicuous consumption*: Katona G. *The Powerful Consumer: Psychological Studies Of The American Economy*. NY: McGraw-Hill, 1960.

¹⁴ См. далее «Роскошь эфемерного».

Формальный код и социальная практика

Таким образом, нет смысла составлять список предметов и социальных значений, к этим предметам привязанных: такой код имел бы в данном случае не большую ценность, чем какой-нибудь сонник. Несомненно, предметы являются носителями индексированных социальных значений, носителями социальной и культурной иерархии, что обнаруживается в мельчайшей из их деталей – форме, материале, цвете, сроке службы, расположении в пространстве и т. д., – то есть они составляют определенный код. Но именно поэтому есть все основания полагать, что индивиды и группы, ни в коей мере не следуя беспрекословно предписаниям кода, используют различительный императивный список предметов как любой другой моральный или институциональный код, то есть используют его по-своему: они играют с ним, обманывают его, говорят на нем, следуя своему классовому диалекту.

Итак, такой дискурс должен быть прочитан в своей классовой грамматике, классовых акцентах, в противоречиях, возникающих между индивидом и его социальным положением или между группой и ее социальным положением, в противоречиях, проговариваемых в самом дискурсе предметов. Обоснованный социальный анализ должен поэтому вестись на уровне конкретного синтаксиса ансамблей предметов – синтаксиса, эквивалентного тому или иному рассказу и толкуемого в категориях социального предназначения, так же как рассказ сновидения интерпретируется в категориях бессознательных конфликтов, – то есть на уровне ляпсусов, промахов, противоречий этого дискурса, который не может примириться с собой (поскольку тогда он выражал бы идеально устойчивый социальный статус, что в обществах нашего типа невозможно), а потому он всегда, напротив, высказывает в этом своем синтаксисе невроз мобильности, инертности или социальной регрессии. Кроме того, такой социальный анализ должен выполняться на отношении – в некоторых случаях рассогласованном или противоречивом – данного дискурса предметов к другим формам социального поведения (профессионального, экономического, культурного). Иными словами, социологический анализ должен избегать как «феноменологического» прочтения («картин» предметов, соотнесенных с социальными характерами или типами), так и простого воспроизведения формального кода предметов, который в любом случае, пусть он и заключает в себе строгую социальную логику, никогда не проговаривается в речи сам по себе, всегда подвергаясь определенной проработке и преобразованию в логику, свойственной каждой ситуации.

Таким образом, предметы, их синтаксис и их риторика отсылают к определенным социальным целям и социальной логике. Поэтому они говорят не столько об их пользователе и технических практиках, сколько о социальных претензиях и смирении, социальной мобильности и инертности, о привыкании к новой культуре и погруженности в старую, о стратификации и социальной классификации. Каждый индивид и каждая группа ищут посредством предметов свое место в определенном порядке, пытаются при этом своим личным движением этот порядок пошатнуть. В предметах обретает свой голос стратифицированное общество¹⁵, и если кажется, что предметы – подобно масс-медиа – говорят со всеми (ведь больше нет права на кастовое обладание предметами), то разговор этот они ведут лишь затем, чтобы поставить каждого на свое место. Короче говоря, под знаком предметов, под печатью частной собственности скрывается непрерывный социальный процесс наделения значением. А предметы, по ту сторону своей простой применимости, везде и всегда являются категориями и выражениями этого социального процесса значимости.

¹⁵ Являющееся, как мы увидим в дальнейшем, несомненно, классовым обществом.

III. Дифференциальная практика предметов

В силу всех вышеперечисленных причин – раз уж социальная стратификация, мобильность и стремления являются ключами к социологическому исследованию «мира» предметов – именно конфигурация предметов в восходящих, подвижных или «активных» классах, имеющих нечеткий и в то же время критический статус, то есть в так называемых средних классах, в этом подвижном стыке стратифицированного общества, в классах, находящихся на пути к интеграции или окультуриванию, иначе говоря, – в классах, уклоняющихся от судьбы промышленного пролетариата, обреченного на социальное исключение, или же от судьбы сельского захолустья, но не имеющих возможности наслаждаться наследством уже достигнутого положения, именно практика предметов (и психологические аспекты, ее закрепляющие), характерная для таких социальных категорий, будет интересовать нас в первую очередь.

Социальная мобильность и инертность

Известно, что в этих подвижных социальных слоях главной проблемой является рассогласование между предполагаемой мобильностью (стремлениями) и реальной мобильностью (объективными шансами социального продвижения). Известно также, что эти стремления не являются свободными, что они зависят от социальной наследственности и от уже достигнутого положения¹⁶. Ниже определенного порога мобильности они вообще исчезают – в абсолютном смирении. В общем, они относительно нереалистичны: мы надеемся на большее, чем объективно в состоянии достичь, и, в то же самое время, они относительно реалистичны: мы не даем разыгаться нашему излишне честолюбивому воображению (за исключением патологических случаев). Эта сложная психологическая картина сама опирается на неявную интерпретацию социальными агентами объективных социологических данных; индустриальные общества предоставляют средним категориям населения определенные шансы на продвижение, но шансы сравнительно небольшие; социальная траектория, за исключением отдельных случаев, оказывается достаточно короткой, социальная инертность весьма ощутима, всегда остается возможность для регресса. В таких условиях создается впечатление, что

- ◆ мотивация к восхождению по социальной лестнице выражает интериоризацию общих норм и схем общества постоянного роста;
- ◆ избыток стремлений по отношению к реальным возможностям выдает разбалансировку, глубокое противоречие общества, в котором «демократическая» идеология социального прогресса при случае вмешивается для того, чтобы компенсировать и переопределить относительную инертность социальных механизмов. Скажем иначе: люди *надеются*, потому что «знают», что могут надеяться, но они *не слишком надеются*, поскольку «знают», что это общество чинит непреодолимые препятствия свободному восхождению, и при этом они *все-таки чересчур надеются*, поскольку в своей жизни сами опираются на общую идеологию мобильности и роста. Уровень их стремлений вытекает, следовательно, из компромисса между реализмом, питаемым фактами, и ирреализмом, поддерживаемым окружающей их идеологией, то есть из компромисса, который в свою очередь отражает внутреннее противоречие всего общества.

¹⁶ Так, в процентном соотношении число рабочих, которые хотят, чтобы их дети получили высшее образование, намного меньше, чем число представителей высших классов, желающих того же самого для своих детей.

Сам этот компромисс, реализующийся социальными агентами в их проектах на будущее и в планах на детей, выражается также и в их предметах.

Домашний порядок и общественный вердикт

Здесь сразу же необходимо устранить возможное возражение, заключающееся в том, что частная собственность на предметы создает для них особую область юрисдикции, которая решительно отличает поведение, связанное с частными предметами, от всех остальных форм поведения, управляемых социальными ограничениями. «Частное» и «общественное» исключают друг друга только в обыденном сознании, ведь, хотя кажется, что предметы принадлежат исключительно домашнему порядку, мы уже выяснили, что их смысл проясняется только в их отношении к социальным директивам конформности и мобильности. На более глубоком уровне рассмотрения обнаруживается, что юрисдикция системы социальных ценностей имманентна домашнему порядку. Частное отношение скрывает глубокое признание общественного *вердикта* и согласие с ним. Каждый в глубине души знает, хотя, возможно, непосредственно и не ощущает, что его судят его же предметами, оценивают ими, и каждый подчиняется такому суждению, пусть и в форме его отвержения. Речь здесь идет не только об императиве конформности, берущем начало в замкнутой группе, или же об императиве вертикальной мобильности, адресуемом всем обществом в целом, но и о том порядке, в котором только и может организоваться индивид или группа – в том самом движении, которое задает их социальное существование. В «частном» или «домашнем» пространстве (и, следовательно, во всей среде предметов), воспринимаемом в качестве убежища, располагающегося по ту или по эту сторону от социальных форм принуждения, в качестве автономного поля потребностей и удовлетворения, индивид, тем не менее, все время продолжает свидетельствовать о легитимности, претендовать на нее и утверждать ее знаками, выдавая в мельчайшей черте своего поведения, в самом ничтожном из своих предметов присутствие той судящей его инстанции, которую он как будто бы отвергает.

Двусмысленная риторика: преуспевание и смирение

По отношению к тем социальным категориям, которые нас интересуют, заключение такого вердикта не может быть положительным: их продвижение по социальной лестнице всегда остается относительным, порой смехотворным, но главное то, что от них ускользает легитимность, то есть возможность обосновать достигнутое положение в качестве безусловной ценности. Именно эта спорная легитимность (спорная в плане культуры, политики, профессии) и обуславливает то, что средние классы с таким остервенением вкладываются в частный универсум, в частную собственность и накопление предметов, создавая за неимением лучшего автономии, в которой они могли бы отпраздновать свою победу, получить реальное социальное признание, которое от них ускользает.

Вот что придает предметам в этой «среде» фундаментально двусмысленный статус: внешне демонстрируя собой успешное социальное продвижение, втайне они показывают (или выдают) социальное поражение. Вот в чем корень умножения предметов, их «стилизации» и организации – в риторике, которая, если воспользоваться термином П. Бурдьё, является не чем иным, как «риторикой безнадежности».

То, как предметы пытаются предстать перед нами, то, как они словно бы предупреждают ценностные возражения и подчиняются скрытой юрисдикции социальной иерархии, заранее ее при этом отвергая, – все это, создавая живую драму частной собственности, изображает

также особую *социальную* страсть и питает социальную патетику подобного дискурса предметов. Не будем забывать, что, несмотря на все важные отличия, демонстрация собранного урожая в садах жителей Тробрианских островов тоже всегда является провокацией, соревнованием, вызовом, оставаясь при этом ритуалом, нацеленным на создание порядка ценностей, правилом игры, необходимым, чтобы примкнуть к этому порядку. В *потлаче* «доказательство приводится» неумным разрушением предметов и богатств. В тех формах частной собственности и частного потребления, которые нам известны и которые, якобы, основываются на индивидуальном порядке, этот социальный антагонистический аспект демонстративности как будто бы отклонен и аннулирован. Но в действительности – ничего подобного, дело может обернуться таким образом, что процессы, происходящие внутри общества «потребления», с новой силой воссоздадут функцию «антагонистических» индикаторов, присущую предметам. Как бы то ни было, что-то от древних практик все еще преследует современные предметы, так что их присутствие не бывает нейтральным, оно всегда страстно.

Стилистические модальности

На уровне предметов многие стилистические модальности отсылают к указанной «риторике безнадёжности». Все они берут начало в логике (или эстетике) симуляции – симуляции буржуазных моделей домашней организации. Нужно, впрочем, отметить, что референтными моделями в таком случае оказываются не модели современных высших классов, поскольку последние требуют гораздо большей изобретательности. Для «активных» классов ориентиром стал традиционный буржуазный порядок, который был сформирован в период от Империи до Реставрации в процессе усвоения прежних аристократических моделей.

Этот риторический «мелкобуржуазный» порядок управляется двумя главными принципами: с одной стороны, *насыщенностью и избыточностью*, а с другой – *симметрией и иерархией*. Очевидно, что возможны многочисленные пересечения этих принципов (так, симметрия является одновременно и избыточностью, включая при этом идею центра). Тем не менее, сами по себе они различны: один – насыщенность/избыточность – выражает неорганическую, тогда как другой – симметрия/иерархия – органическую структуру этого порядка. Отметим также, что эти способы организации по своей сущности не связаны только лишь с буржуазным или мелкобуржуазным порядком, поскольку их можно выявить и в более общем антропологическом или эстетическом анализе. Но в данном случае они интересуют нас лишь в силу своего социального определения, то есть как специфическая риторика данной социальной категории.

Насыщенность: известно, что буржуазный дом замкнут сам на себя, будучи полным как яйцо. Наследство, накопление являются знаками «статуса» и благосостояния. Точно так же мелкобуржуазный интерьер характеризуется своеобразной теснотой. Верно, что иногда ему не хватает пространства, но эта пространственная нищета вызывает реакцию компенсации: чем меньше пространства, тем больше надо накапливать вещей (примерно таким же образом в радиоиграх, за отсутствием «благородных» культурных мотиваций, главную роль играет критерий объема памяти). Иногда, впрочем, «полными» оказываются только некоторые комнаты, отдельные уголки дома. Следовательно, при анализе необходимо прежде всего обращать внимание на различные аспекты игры с полнотой и пустотой, на некую логику, которая задает определенные места хранения, складирования, сбережения – некогда аналогичная функция принадлежала погребам и подвалам. Простое нагромождение или же агрегаты предметов, частичные или остаточные синтагмы, синтаксические концепции ансамблей предметов: в таком виде дом или комнату можно анализировать с точки зрения топографии. Но, повторимся, подобный способ изучения лишен всякого интереса, если он не дополняется социаль-

ной логикой: у каждого класса есть свои способы организации, начиная с накопления предметов, обусловленного дефицитом, и заканчивая обдуманной и взвешенной архитектурой.

Тактика горшка и кашпо

Избыточность: это вся система театрального и барочного обертывания домашней собственности: стол покрыт скатертью, а она сама предохраняется другой пластиковой скатертью. Занавеси и двойные занавеси на окнах. Ковры, чехлы, войлок, панели, абажур. Каждая безделушка покоится на маленькой скатерти. У каждого цветка свой горшок, а у каждого горшка – кашпо. Все защищено и заключено в рамку. Даже в саду каждый участок окружен изгородью, каждая аллея подчеркнута кирпичами, мозаикой и т. п. Все это можно анализировать как тревожное влечение к изоляции, как навязчивую символику: не просто обладать, но подчеркнуть два, три раза то, чем ты обладаешь – таково наваждение владельца коттеджа, какого-нибудь мелкого собственника. Бессознательное здесь, как и повсюду, проговаривается в избыточности знаков, в их коннотациях и в их нагруженности.

Но во всем этом проговаривается и что-то другое, требующее извлечения ряда иных следствий:

1. Нагруженность знаками обладания, играющими здесь демонстративную роль, может анализироваться не только как интенция на обладание, но также и как стремление показать, насколько *хорошо* мы чем-то владеем¹⁷. Эта демонстрация, эта «стилистическая» сверхдетерминация всегда соотносится с некоторой группой: она выполняет не только психологическую функцию удостоверения владельца в его собственности, но и социологическую функцию присоединения его ко всему классу индивидов, которые владеют подобным же образом. То есть сами знаки частного работают в качестве знаков социальной принадлежности. Поэтому через то или иное символическое поведение подает свой голос классовый культурный императив (который, естественно, не имеет ничего общего с политическим классовым сознанием).

2. Интересно было бы, отправляясь от этого пункта, соотнести тревожный и одновременно триумфальный характер таких форм обладания с особой позицией среднего класса (или классов) на социальной лестнице. Как определить эту позицию? Это класс, который зашел достаточно далеко, чтобы интериоризировать модели социального успеха, но не настолько, чтобы не интериоризировать одновременно и провал этих моделей. От пролетариата этот класс отличается коннотацией того, чем он владеет, избыточной, чрезмерной оценкой своего относительного положения. Но в то же время он негативно отличается от высших классов, подчеркивая *пределы* достигнутого им, то есть отличается скрытым сознанием того, что это все, чего он сможет когда-либо достичь. Отсюда и проистекает двойное движение триумфа и смирения, оформляющееся в виде черной полосы, очерчивающей все предметы как будто бы для того, чтобы взять их в рамку, облагородить их, и кажущееся, в целом, каким-то натужным вызовом недостижимым формам обладания. В стратифицированном обществе средний класс прошел через определенный компромисс, который является подлинной участью этого класса как социального образования, – тот же компромисс, подлежащий социологическому определению, отражается в победном и одновременно пораженческом ритуале, которым средний класс окружает свои предметы.

¹⁷ Ср. поведение официанта кафе у Сартра, перегруженная значениями игра которого нацелена не столько на то, чтобы сделать что-то, но и чтобы показать, как хорошо он это делает.

«Вкус» к старине

Можно построить целую психологию или даже психоанализ старинного предмета (наваждение подлинности, мистика прошлого, истока, «символическая» плотность и другие более или менее осознанные моменты опыта). Но нас в нем интересует социальная различительная функция, неотделимая на всех уровнях от живой психологической «субстанции» «старины».

Старинный предмет относится к порядку культурного барокко. Его «эстетическая» ценность всегда является производной: в нем стираются стигматы промышленного производства, как и его первоначальные функции. В силу всех этих причин вкус к старинному характеризуется желанием выйти за пределы сферы экономического успеха, прославить в символическом, окультуренном, избыточном знаке социальный успех или привилегированное положение. Старинное – это, кроме всего прочего, тот социальный успех, который ищет себе законное обоснование, свою генеалогию, подтверждение своего «благородства».

Итак, старинный предмет принадлежит привилегированным классам, которым важно преобразовать экономический статус в наследуемую благодать. Но также он принадлежит и средним слоям наемных работников, которые посредством покупки мебели в стиле рустики – пусть и промышленного производства – пытаются освятить свой относительный статус в качестве абсолютного достижения (если сравнивать его с низшими классами). Также такой предмет осваивается и маргинальными слоями, интеллектуалам и художникам, среди которых вкус к старинному выдает, скорее, отказ от экономического статуса (или же стыдливое согласие с ним), отказ от социального измерения как такового, желание очутиться вне класса, что требует обращения к хранилищу эмблематических знаков прошлого, предшествующего промышленному производству¹⁸.

Следовательно, не имеет никакого смысла констатировать, что такой-то класс питает страсти к средневековью, такой-то – к промышленной рустике, такой-то – к аутентичной деревенской мебели XVIII века, для того, чтобы описать социальную стратификацию в категориях вкуса: все эти различия не отражают ничего, кроме культурных ограничений и законов рынка. На каждом уровне важно выявить специфическую социальную претензию, которая выражается вкусом к старинному: от какого класса мы пытаемся отличиться им? Какая социальная позиция получает санкцию? К какому классу или классовой модели мы стремимся? Необходимо схватывать саму культурную логику мобильности, не ограничиваясь описательными отношениями, которые всего лишь связывают социальный уровень с типом предметов или формами поведения¹⁹.

¹⁸ Или же к набору предметов, «отклоняющихся» от моды: ужасных, странных, ненормальных, порочных – всех тех, которыми нынче усыпаны витрины магазинов Левого берега. Настоящий ад «уникального» (или малораспространенного) предмета со всей его бесполезностью и эксцентричностью, настоящий ад предмета роскоши, который тайно мечтает о пригороде Сент-Оноре. Дело в том, что его вынужденная оригинальность должна интерпретироваться как вызов маргинальных интеллектуальных групп «легитимным» привилегированным сферам промышленного общества. Ненормальные предметы нравятся своей провокативностью, своей нелегитимностью, хотя они и пытаются в своей собственной незаконности приобрести при помощи вызова абсолютную ценность. Будучи вызовом абсолютным моделям, они оказываются и вызовом серийным предметам: они желают быть абсолютными в своей единственности – точно такое же положение у находящегося «вне классов» интеллектуала.

¹⁹ Только крестьяне – пока еще – противятся барокко старинного, поскольку стремятся отбросить знаки прошлого и перейти к современному серийному функциональному предмету; точно так же как и рабочие, которые все еще не затронуты культурной мобильностью и не имеют статуса, требующего защиты или легитимации. О «старинном» см.: *Бодрийяр Ж.* Система вещей. Указ. соч.

Блестящее и лакированное

Другие аспекты на уровне среды также подтверждают этот культурный компромисс класса. Это поистине триумф упаковывания, обертывания всего подряд всемогущей пуританской моралью, триумф ритуальной гигиены. Это триумф блестящего, полированного, накладного, навошенного, натертого, лакированного, лощеного, остекленного, затянутого пластиком. Целая этика защиты, заботы, чистоты, совмещающаяся с дисциплинарным ритуалом заключения в рамку, о котором речь уже шла (концентрические круги собственности: ставни, занавеси, двойные занавеси; панели, плинтусы, обои; скатерти, маленькие скатерти для отдельных предметов, покрывала, бювары и т. д.). К тому же самому порядку относится симметричное расположение, когда вещи удваиваются, чтобы отражать самих себя – это все та же избыточность. Предмет существует в буквальном смысле этого слова лишь постольку, поскольку он повторяется в самом себе и поскольку мы можем прочесть в этом зеркальном удвоении фундаментальное уравнение, являющееся уравнением собственности: *A есть A*. Экономический принцип, санкционированный символическим присвоением (стекла и зеркала): такова «(мелко)буржуазная» формальная логика среды²⁰. Это формальное упорядочивание имеет, естественно, идеологическое значение: будучи евклидовой, аристотелевской логикой, оно стремится заковать социальное становление определенным порядком, уничтожить противоречия в тавтологическом ритуале.

Симметрия (вместе с гигиеной и моральностью) является тем «стихийным» представлением культуры, которое есть у средних классов. Игра с асимметрией лишь укрепляет это представление.

Моральный фантазм домашнего хозяйства

С такой точки зрения, все полированное, блестящее (так же как и заключенное в рамку, симметричное) оказывается возвеличиванием «тривиальной» культурной модели, которая является не моделью красоты и украшения, а моральной моделью чистоты и правильности. Предметы в такой системе оказываются точными подобиями детей, которым сперва надо привить хорошие манеры, которых нужно сделать «культурными», подчиняя их формальным императивам учтивости. Итак, речь все еще идет о *классовом* компромиссе: наваждение непогрешимости, фанатичная преданность домашнему хозяйству в точности соответствует требованию превзойти строгую необходимость применения в кажимости – представляющей императив культурного продвижения, – но эта кажимость в силу устойчивого этоса труда и заслуги не может иметь вид чистого дара или расточительности: поэтому-то она оказывается предметом постоянной работы, предметом тягостного домашнего ритуала, ежедневного *жертвоприношения* на дому. Блестящий предмет удовлетворяет обширную социокультурную категорию людей потому, что он сводит вместе – как будто бы в формальном противоречии, но на деле в соответствии с точной социальной логикой – два императива: демонстрации престижа (знаковой меновой стоимости) и демонстрации заслуги (потребительной или производительной стоимости), предлагая, таким образом, фигуру синтеза *conspicuous morality*²¹.

²⁰ По своим принципам «дискретности» (объекты представляются индивидуальными, особыми единствами, различенными по их функции и форме) и избыточности эта тенденция прямо противоположна «современным» принципам организации среды: текучести, многофункциональности, комбинаторике и подвижной интеграции элементов.

²¹ Показной моральности (англ.). – Прим. перев.

Этот культурный статус предмета входит в прямое противоречие с его практическим статусом. Сознание домашней хозяйки всеми способами стремится это противоречие обойти: «Лакированный предмет красивее, он дольше служит», доходя в пределе до парадокса:

«За предметом, покрытым пластиком или лакированным, легче ухаживать, он требует меньше усилий», тогда как в действительности вся эта внимательность и озабоченность требует усилий, ведь из-за нее предметы становятся более хрупкими, а их использование усложняется. На самом деле, домашняя работа лишь косвенно преследует практическую цель (сделать предметы готовыми к использованию), оказываясь действием совершенного иного, то есть символического, порядка, который подчас полностью заслоняет практическое применение (серебряные столовые приборы, которые постоянно натирают, никогда не используя в сервировке). *И если* колоссальная работа женщин (с детьми и предметами) не учитывается в общенациональных отчетах, то причина заключается не только в том, что последние слишком абстрактны, чтобы описывать что-нибудь отличное от формальной социальной рентабельности, но и в том, что эта работа по своей интенции и в своей сущности относится не к экономическому, а к символическому и статусному исчислению, законы которого диктуются конфигурацией классовых социальных отношений²².

По ту сторону этики успеха, которую мы только что проанализировали, в такой ожесточенной заботливости присутствует подлинная патетика: в противоположность конкретному обращению с предметами, которое всегда ограничено (их функциями), эта заботливость не имеет пределов – она кормит и пожирает саму себя в соответствии с движением несчастного сознания. В своем стремящемся к совершенству формализме она уподобляется искусству ради искусства, и причина как раз в том, что она не является ни настоящим трудом, ни настоящей культурой. Это надбавка знаков культурности, отрезанных от своей культурной целесообразности, то есть риторика. Риторика домашнего спасения, а не рациональная домашняя экономика. Празднующая триумф и страдающая. Неизменная в своих убеждениях и своем ритуале и отчужденная в самом своем смысле. Такова настоящая культура повседневности.

²² Существенным социальным критерием является использование в домашней работе прислуги (служанки, уборщицы, домашнего персонала и т. д.). Иметь прислугу – это значит уже выйти из среднего класса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.